

#своякомната

Вирджиния Вулф

Одно из первых
высказываний
о женщинах
в литературе,
ставшее
классикой



Своя
комната

Вирджиния Вулф Своя комната

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44035971

Вирджиния Вулф. Своя комната: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2019

ISBN 978-5-00146-327-6

Аннотация

В этом эссе Вирджиния Вулф анализирует тему женщин и литературы. И приходит к выводу о том, что для писательского труда женщинам необходимы собственные средства и уединенная комната. Появившееся в 1929 году, это эссе стало важным феминистским высказыванием и остается таковым и сегодня.

Вирджиния Вулф – британская писательница и литературный критик. Ведущая фигура модернистской литературы первой половины XX века. Ее работы переведены более чем на пятьдесят языков.

Содержание

Информация от издательства	4
Один	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Вирджиния Вулф

Своя комната

Информация от издательства

Благодарим за помощь в подготовке издания Виктора Сонькина

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019

* * *

Один

Но мы же просили рассказать о женщинах и литературе, скажете вы, при чем тут чьи-то комнаты? Попробую объяснить. Когда мне предложили рассказать о женщинах и литературе, я села на берегу реки и стала размышлять, что же это значит. Несколько слов о Фанни Берни, несколько – о Джейн Остин, дань почести сестрам Бронте и краткий набросок их заснеженного дома-музея в Хоэрте; если получится – пара остроумных замечаний о мисс Митфорд; уважительно помянуть Джордж Элиот, сослаться на миссис Гаскелл, и готово. Но если вдуматься, этот вопрос не так уж и прост. Он может обозначать – как вы, наверное, и полагали – разные темы: самих женщин и их женскую суть, или же книги, которые пишут женщины, или же книги, написанные о женщинах; а может, все эти темы неразрывно переплетены, и вам хотелось бы послушать о них именно с такой позиции. Эта позиция казалась самой многообещающей, и я начала было размышлять над ней, но вскоре мне стал очевиден ее серьезный изъян. Мне бы не удалось сделать здесь никакого вывода. Мне бы не удалось исполнить основной – как я это вижу – долг любого докладчика, то есть после часовой речи преподнести слушателям какую-нибудь жемчужину истины, которую можно завернуть в тетрадные листы и определить на вечное хранение на каминную полку. Могу лишь сооб-

щить свое мнение по одному пункту: если женщина хочет писать книги, ей понадобятся деньги и собственная комната; а это, как вы понимаете, не отвечает на вопрос об истинной сути женщин и литературы. Я увильнула от священного долга предоставить вам вывод – вопрос женщин и литературы остается для меня нерешенным. Чтобы немного загладить вину, я постараюсь показать вам, как пришла к мнению о собственной комнате и деньгах. Как можно более полно воспроизведу ход мыслей, приведший меня к такому выводу. Когда я продемонстрирую идеи, предубеждения и заблуждения, что кроются за этим выводом, вы, возможно, увидите, что они имеют некоторое отношение и к женщинам, и к литературе. В любом случае, если предмет наших рассуждений противоречив – а когда речь заходит о вопросах пола, по-другому не бывает, – нельзя и рассчитывать на истину. Можно только показать, как вы пришли к своему мнению. Пусть слушатели сами делают вывод, видя все предрассудки, страхи и недостатки докладчика. В литературе может оказаться больше истины, чем в фактах. Так что я собираюсь воспользоваться всеми свободами и вольностями романистки и рассказать вам о том, как провела два последних дня – как я размышляла над вашим вопросом, согнувшись под его тяжестью, и как он стал частью моей повседневной жизни. Само собой разумеется, что я буду говорить о несуществующих предметах: Оксбридж – это вымышленное место, как и Фернхэм, а «я» – всего лишь сподручное обозначение ко-

го-то выдуманного. С моих губ будет слетать одна выдумка за другой, но среди них, возможно, попадется и доля истины; вам предстоит распознать эту истину и решить, стоит ли она сохранения. Если нет, вы вольны выбросить ее в корзину для бумаг и позабыть обо всем.

Так я и сидела (можете звать меня Мэри Битон, Мэри Ситон, Мэри Кармайкл – как вам больше нравится; это совершенно неважно) на набережной чудесным октябрьским деньком, погружившись в свои мысли. На душе тяжким грузом лежала необходимость прийти к какому-либо выводу касательно темы, порождающей множество страстей и споров, – темы женщин и литературы. Вокруг меня пылала багрянцем и золотом листва, чуть подпаленная на жаре. На дальнем берегу плакали вечно скорбящие ивы, распустив волосы. Река отражала что ей заблагорассудится – то небо, то мост, то пылающие деревья, а когда какой-то студент пересек эти отражения на своей лодке, они снова сомкнулись, будто и не было никого. Можно было сколь угодно сидеть здесь, погружившись в собственные мысли. Одна такая мысль – дадим ей это незаслуженно гордое имя – уже соскользнула в воду и стала покачиваться там среди водорослей и отражений, то всплывая, то снова исчезая, как вдруг... представьте, что мысль внезапно сгустилась и потяжелела, и вы ощутили, что у вас клюет, и осторожно вытянули леску, и теперь изучаете добычу. Но, оказавшись на берегу, мысль вдруг кажется маленькой и жалкой; хороший рыбак бросит такую рыбку

обратно в воду: пусть нагуляет жирок, и тогда ее можно будет изжарить и съесть. Не буду докучать вам этой мыслью; если приглядитесь, сами обнаружите ее в моей речи.

Но какой бы незначительной ни была моя мысль, она все же обладала присущим своей породе свойством: снова оказавшись в потоке размышлений, она немедленно обрела прежний блеск и значимость и начала столь энергично плескаться и блистать, что закрутила вокруг себя целый водоворот идей – так что усидеть на месте было решительно невозможно. Тут-то я и обнаружила, что стремительно шагаю по газону. Внезапно меня попытался остановить какой-то мужчина. Я не сразу поняла, что жестикуляция этого странного персонажа, одетого в дневной сюртук и вечернюю рубашку, обращены ко мне. На лице его были написаны ужас и возмущение. Меня спас скорее инстинкт, чем здравый смысл: передо мной – университетский смотритель, а я – женщина; я иду по траве, а дорожка – там. Сюда пускали только Господ Ученых, мне же полагалось ходить по гравию. Все эти соображения пронеслись в голове в один миг. Я вернулась на дорожку, и сторож тут же успокоился и опустил руки, и хотя по траве ходить куда приятнее, чем по гравию, все кончилось благополучно. Жаль только, что, защищая свой трехсотлетний газон, Господа Ученые этого оставшегося неизвестным колледжа спугнули мою рыбку.

Уже не помню, какая мысль толкнула меня на такие дерзкие нарушения. На меня снизошла благодать, снова облачко

спустилось из рая. Если и есть на свете благодать, ее можно найти в квадратных дворах Оксбриджа ясным октябрьским утром. Когда идешь мимо старинных стен этих колледжей, шероховатости окружающего мира будто сглаживаются; тело словно попадает в волшебный стеклянный звуконепроницаемый футляр, а сознание, которому не нужно теперь иметь дело с фактами, привольно выбирает, на чем бы ему сосредоточиться (главное – не ходить по траве). По воле случая мне вспомнилось какое-то старое эссе Чарльза Лэма о том, как он навещал Оксбридж на каникулах («Святой Чарльз», говорил Теккерей, прикладывая ко лбу его письмо). В самом деле, среди всех покойников (я излагаю вам свои мысли именно в том виде, как они ко мне приходили) Лэм наиболее мне созвучен; его хочется спросить – скажите, как вы писали? Его эссе превосходят даже совершенные, идеальные работы Макса Бирнбома: дело в тех бурных приливах вдохновения, электрических разрядах гениальности, благодаря которым работы Лэма становились небезупречны – и великолепны. Лэм навещал Оксбридж около ста лет назад. Он совершенно точно написал эссе (не могу вспомнить, как оно называется) об увиденной здесь рукописи одного из мильтоновских стихотворений. Возможно, речь шла о «Ликиде», и Лэм писал, как потрясла его сама идея того, что хоть слово в этой поэме могло быть иным. Ему казалась кощунством одна лишь мысль о том, что Милтон мог бы заменить какое-то слово в «Ликиде». Тут я стала припоминать текст по-

эмы и забавляться, пытаясь представить, какое слово и почему заменил Мильтон. Потом мне вдруг пришло в голову, что я всего лишь в паре сотен ярдов от той самой рукописи и могу вслед за Лэмом пересечь четырехугольный двор и войти в ту самую знаменитую библиотеку. Кроме того, размышляла я, исполняя свой план, в этой же библиотеке хранится рукопись «Эсмонда» Теккерея. Критики часто говорят, что «Эсмонд» – лучший роман Теккерея. На мой взгляд, его изрядно утяжеляет аффектированность, призванная воспроизвести стиль XVIII века. Другое дело, если Теккерею и в самом деле был присущ стиль XVIII столетия – это легко проверить, взглянув на рукопись и проверив, какова цель исправлений в тексте: прояснить мысль или воспроизвести стиль. Тогда следовало бы определить, что есть стиль, а что – мысль, а этот вопрос... но тут я оказалась у двери в библиотеку. Видимо, я открыла ее, поскольку мой путь тут же преградил, словно ангел-хранитель, седой и неодобрительно-любезный джентльмен, за спиной у которого вместо белых крыльев трепетала черная мантия, и негромко сообщил, что, к его сожалению, леди допускаются в библиотеку только при наличии рекомендательного письма или в сопровождении кого-либо из Господ Ученых.

Что за дело знаменитой библиотеке, если ее и проклянет какая-то женщина? Она продолжает благочинно и благодушно дремать, надежно укрыв свои сокровища, и будет, как я полагаю, дремать вечно. Гневно спускаясь по ступеням, я

клялась никогда больше не тревожить здешнее эхо, никогда не искать тут приюта. Впрочем, до обеда оставался еще час. Чем же заняться? Погулять по лужайкам? Посидеть у реки? Утро, конечно, было чудное, алые листья порхали в воздухе, и любое из этих занятий представлялось заманчивым. Но тут до меня донеслась музыка. Началась не то какая-то церемония, не то служба. Под торжественный плач органа я подошла к входу в церковь. В такую безмятежную погоду даже христианская скорбь походила скорее на воспоминание о былых скорбях; казалось, что даже старинный инструмент стелет как-то умиротворенно. У меня не возникло ни малейшего желания зайти туда, пусть даже я и имела такое право: вдруг на этот раз у меня потребуют свидетельство о крещении или рекомендательное письмо от декана? Но зачастую эти великолепные постройки ничуть не менее красивы снаружи, чем внутри. Кроме того, забавно было наблюдать, как собирается паства и люди появляются в дверях и исчезают, словно пчелы перед ульем. Многие в мантиях и шапочках, некоторые – с меховыми кисточками; одних привезли в инвалидных колясках, других, хоть и не старых, время так изломало и расплющило, что они стали напоминать крабов и раков, что с трудом передвигаются по песку в аквариуме. С моего наблюдательного пункта университет и впрямь казался заповедником для редких видов, которые вымерли бы, доведись им попытаться выжить на тротуарах Стрэнда.

Мне стали вспоминаться рассказы о былых деканах и рек-

торах, но пока я набиралась смелости, чтобы свистнуть (говорят, что, услышав свист, старые профессора пускаются галопом), достопочтенные прихожане скрылись внутри. Наружность, однако, осталась на месте. Как вам известно, высокие купола и шпили по ночам ярко освещены и видны издали, словно мачты корабля, что никак не пристанет в гавани. Наверное, и этот двор с ухоженными газонами, крепкими домами и церковью некогда был болотом, где колыхались травы и паслись свиньи. Должно быть, целые караваны лошадей и быков возили сюда камень издали, а затем серые блоки, в тени которых я сейчас стояла, с нечеловеческими усилиями были водружены друг на друга; потом художники изготовили стекла для окон, а каменщики веками трудились над этими крышами, вооруженные замазкой, цементом, лопатами и мастерками. Каждую субботу кто-то ссыпал в их натруженные руки золото и серебро из кожаного мешочка, и этих денег хватало разве что на вечер за кеглями и пивом. В этот двор должен был поступать непрерывный поток золота и серебра, чтобы камни продолжали появляться, а каменщики – трудиться, чтобы люди не переставали окапывать, выравнивать, рыть и откачивать воду. Но то был век веры, и денег было достаточно, чтобы камни встали на прочный фундамент, а когда постройки были возведены, из казны королей, королев и аристократов вновь потекли деньги, чтобы в этих стенах звучали гимны и трудились ученые. Здесь дарили земли и платили десятину. А когда на смену веку веры

пришел век разума, денежный поток не иссяк: здесь основывали братства и выдавали стипендии; только теперь деньги шли не из казны, но из сундуков купцов и фабрикантов, из кошельков тех, кто сколотил состояние на производстве и в своем завещании отписал добрую его часть на новые стипендии и места в тех университетах, где они обучились профессии. Так и появились на свет библиотеки, лаборатории и обсерватории, а также дорогие приборы тонкой работы, что хранятся за стеклом, – там, где некогда колыхались травы и рылись свиньи. Прогуливаясь по двору, я думала, что фундамент из золота и серебра оказался достаточно прочным – плиты надежно покоились на газонах. По лестницам сновали мужчины в своих квадратных шляпах. В подоконных ящиках пышно разрослись цветы. Из открытых окон доносились граммофонные мелодии. Нельзя было не задуматься... но тут пробили часы, положив конец всем раздумьям. Наступило время обеда.

Удивительно, что романисты заставляют нас верить, будто обеды запоминаются исключительно потому, что кто-то сказал что-то очень остроумное или сделал что-то очень значительное. Редко кто из них уделит внимание еде. Литераторы будто сговорились не упоминать суп, лосося и утку, словно суп, лосось и утка вовсе не имеют значения, а людям никогда не приходилось выкурить сигару или выпить бокал вина. Я возьму на себя смелость нарушить этот обычай и сообщу вам, что этот обед начался с камбалы, утопленной в

глубокой тарелке и надежно укрытой белоснежными сливками, тут и там сбрызнутыми коричневыми каплями, похожими на пятнышки с боков олененка. Затем наступил черед куропаток – но если вы вообразили себе пару несчастных голых птичек, вы сильно ошибаетесь. Бесчисленные куропатки сопровождалась целой армией соусов и салатов, острых и сладких, тонко нарезанного, но не пережаренного картофеля, а также брюссельской капусты, прекрасной, словно розовые бутоны, но куда более сочной. Когда покончили с жарким и его свитой, молчаливый слуга (возможно, смягченная разновидность того университетского зрителя) поставил перед нами покрытый салфетками десерт, весь в сахарной пене. Назвать его пудингом – и тем самым поставить на одну доску с заурядным пудингом из риса или тапиоки – значило бы совершить святотатство. Меж тем бокалы переливались алым и золотым, пустели и вновь наполнялись. И где-то там, посередине позвоночника, где кроется человеческая душа, начал разгораться свет – не жесткий электрический проблеск того, что мы зовем остроумием, но мягкий и ровный свет человеческого общения. Нам некуда спешить, нам незачем блистать. Нам ни к чему быть кем-то еще, кроме самих себя. Нас всех ждет рай в сопровождении Ван Дейка. Как великолепно жизнь, как щедро, как незначительны мелкие склоки и горести, как прекрасна дружба и общество себе подобных – и, закулив сигарету, вы опускаетесь на подушки на подоконнике.

Окажись под рукой пепельница, не пришлось бы стряхивать пепел в окно, а значит, я и не заметила бы во дворе бесхвостую кошку. Наблюдая за тем, как крадется это кургузое животное, я вдруг ощутила, что настроение мое меняется. Будто на все вокруг легла тень. Возможно, действие превосходного рейнвейна стало ослабевать. Глядя, как мэнская кошка¹ остановилась посреди газона, словно тоже вдруг усомнившись в окружающем мире, я почувствовала – что-то изменилось, чего-то не хватает. Но что же изменилось и что исчезло, спрашивала я себя, прислушиваясь к разговорам. Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось перенестись из этой комнаты в прошлое, в довоенную эпоху, и вспомнить еще один обед, который устроили в очень похожих интерьерах – но все же других. Все было другим. Гости меж тем продолжали беседовать, их было много, все были молоды, кто-то одного пола, кто-то – другого; беседа текла неспешно, привольно, благожелательно. Слушая, я мысленно сравнивала ее с той, другой беседой, и понимала, что она – законная наследница первой. Все осталось прежним, ничего не изменилось, и все же в этот раз я прислушивалась даже не к словам, а к журчанию, плеску за ними. Все верно, перемена крылась именно здесь. До войны на подобном обеде люди говорили бы о том же, но их речи звучали бы иначе, поскольку в те дни им сопутствовал своеобразный музыкальный призыв, волшебным образом преображавший сказанное, словно

¹ У представителей этой породы кошек обычно нет хвоста. *Прим. ред.*

кто-то мурлыкал под нос мелодию некой песни. Можно ли выразить этот призыв словом? Возможно, если обратиться к поэзии... Я открыла лежащую рядом книгу и наткнулась на Теннисона. И Теннисон пел:

Роза алая у ворот
Жарко вспыхивает, как в бреду;
Вот она идет, моя Мод,
Чтоб утишить мою беду;
Роза белая слезы льет;
Шпорник шепчет: «Она в саду»;
Колокольчик сигнал дает,
И жасмин отвечает: «Жду!»

Вот она идет сюда – ах!
Слышу: платье шуршит вдали;
Если даже я буду остывший прах
В склепной сырости и в пыли,
Мое сердце и там, в потьмах,
Задрожит (пусть века прошли!) –
И рванется в рдяных, алых цветах
Ей навстречу из-под земли².

Может быть, это напевали мужчины на приемах до войны? А женщины?

² Перевод Григория Кружкова.

Моя душа, как птичий хор,
Поет на тысячу ладов,
Моя душа – как летний сад
Под сладкой тяжестью плодов,
Моя душа – как океан,
Нахлынувший на берег вновь...
Моя душа счастливей всех:
В нее вошла любовь³.

Может быть, это напевали женщины на приемах до войны?

Так забавно было представить, что кто-то напевал на приемах до войны, пусть даже и себе под нос, что я расхохоталась и вынуждена была указать присутствующим на мэнскую кошку в качестве объяснения. Она и правда смотрелась глуповато, эта бесхвостая бедняжка посреди газона. Лишилась ли она хвоста в результате несчастного случая или родилась без него? Говорят, что бесхвостые кошки встречаются на острове Мэн, но на самом деле это большая редкость. Странные это животные – скорее нелепые, чем красивые. Удивительно, какое значение играет хвост – вроде тех реплик, что служат сигналом к окончанию обеда, и люди принимаются искать свои плащи и шляпы.

Благодаря гостеприимству хозяина этот обед продлился до вечера. Дивный октябрьский день подходил к концу. Я шла по усыпанной листьями аллее. За мной деликатно, но

³ Перевод Марии Лукашкиной.

настойчиво закрывались ворота. Бесчисленные змолтрители вставляли бесчисленные ключи в хорошо смазанные замки; хранилище закрывалось до следующего дня. После аллеи вы выходите на дорогу (запамятовала название), которая приведет вас к колледжу Фернхэм, если не спутаете поворот. Но времени было еще довольно. Ужин начинался в половине восьмого. К тому же после такого обеда можно обойтись и без ужина. Удивительно: стоит вспомнить пару строк, и вы уже шагаете в ритме стихов. Пока я шагала к Хэдинггли, у меня в ушах звенело:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.